

Эпохи и судьбы

Так вот когда мы вздумали родиться
И безошибочно отмерив время,
Чтоб ничего не пропустить из зрелищ
Невиданных, простились с небытьем.

Анна Ахматова
Северные элегии

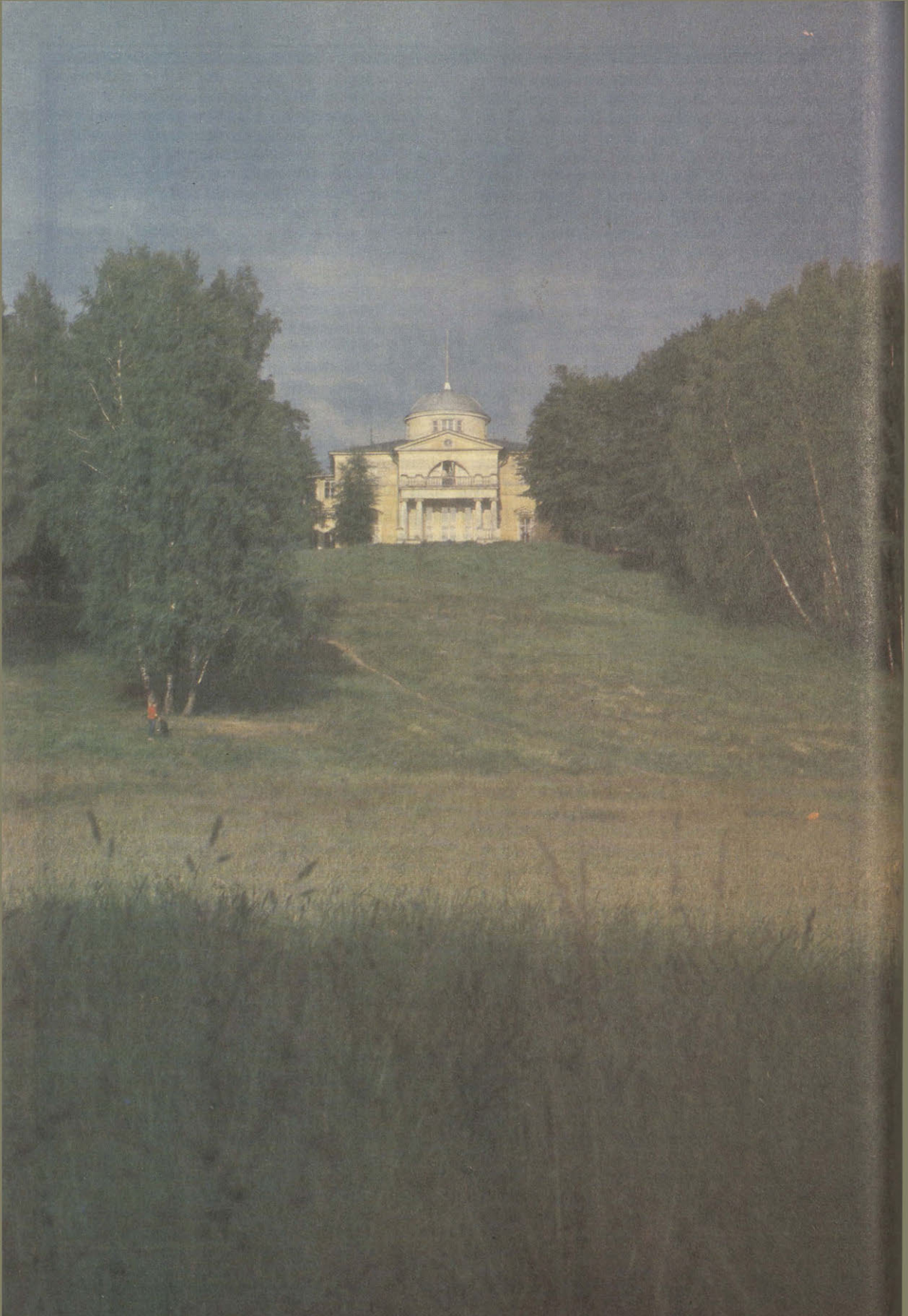


Фото А. Миловского

«Россия,
до чего доигрались с тобой!»

Из дневника
дочери знаменитого архитектора

Среда, 6 октября 1857 г.

В столе у меня лежит «Колокол» Искандера, и надо его прочитать спешно и украдкой и вернуть. Искандер теперь властитель наших дум, предмет разговоров. Что изречет он в Лондоне, то подхватывается в Петербурге и комментируется, а больше смакуется, как нечто сладкое, когда оно в сущности горько. Странные дела происходят, в удивительное время попала я жить.

«Колокол» прячут, но читают все; говорят, и государь читает. Корреспонденции получает Герцен отовсюду, из всех министерств, и, говорят, даже из дворцов. Его боятся и им восхищаются. Он, само собой, запрещен; читают его или в одиночку, украдкой, или в очень интимных кружках, и говорят о нем тоже не открыто. Говорить открыто, а тем более писать запрещено; но и потихоньку, в своем кружке, говорить можно не все; осуждать, критиковать, сомневаться в чем-нибудь, изданном Герценом, — нельзя, еще строже запрещается либералами, чем его хвалить, или просто запрещено читать предрержащей властью, правительством.

Я однажды отважилась сказать моим подругам, что не люблю Некрасова; что не люблю Герцена, — не отважилась бы. Говорю это не к тому, что он мне также не нравится, нет, он увлекателен, в нем есть что-то подмывающее; цель его, которую он выставляет и выставляют за него другие, — благая цель, но я только хочу сказать, что нет нетерпимее людей, чем либералы. И имеем мы теперь две цензуры и как бы два правительства, и которое строже, — трудно сказать. Те, бритые и с орденом на шее, гоголевские чиновники: отходят на второй план, и на сцену выступают новые, с бакенами и без орденов на шее, и они в одно и то же время и блюстители порядка и блюстители беспорядка. Вот тут и разбирай, где правда, где неправда. Душой нового, либерального направления прогресса называют в. к. Константина Николаевича. Про государя говорят, что он добр, благороден, но нерешителен и слаб. Константин же Николаевич и умен и решителен. И все хорошее, в либеральном духе, приписывают ему, все противоположное — государю.

А интересно бы знать, что такое из сочинений Герцена сожгла тогда мама. Теперь и она читает его, но не показывает дедушке. И Бенедиктов читает. Бенедиктов бакенов себе не отпускает, а остается бритым, как был; но с орденом на шее больше не являлся. А я помню, как в 1853—1854 годах он приходил с ним. Бенедиктов очень приятный человек. Отличительная черта его — скромность. Он очень умен и мнений своих не скрывает, но и не кричит их всему свету в уши; он умеет молчать, но и умеет сказать впору веское слово, иногда очень остро. Полонский уехал за границу еще 18 мая. Мы провожали его на пароход, но на пристани было столько народа, что и парохода, за народом, не было видно, и, следовательно, и Полонского. Мы, однако, успели проститься с ним, и он успел показать нам издали Константина Аксакова, сына Сергея Тимофеевича, и старшего брата Ивана, поэта. Полонский говорит, что Константин Аксаков — человек необыкновенный, возвышенного ума и глубоко религиозный; впрочем, все Аксаковы люди недюжинные.

Воскресенье, 9 февраля 1858 г.

Я бы хотела, чтобы в моем дневнике отпечатывался дух настоящего времени, и не умею этого сделать. Для этого, кажется, надо, не рассуждая, записывать факты, а я все рассуждаю. Я говорю, что анализ мешает мне. Мне бы хотелось, чтобы через много, много лет, если уцелеют эти страницы, в них бы живо и верно отражалось нынешнее время, нынешняя борьба новых начал со старыми.

Говорят, что мы спали тридцать лет и теперь просыпаемся. Но богатырь спал тридцать лет и три года. Впрочем, если считать до 1855 года, то выйдет только тридцать, а если считать до нынешнего 1858-го, то ровно тридцать и три года, именно как следует. Ну-ко, богатырь, вставай и удивляй мир!

Но говорят еще, что нам проснуться и встать не дают. Няньки все укачивают снова;

им покойней, когда дитя спит; они говорят, что еще рано вставать, еще заря только занимается. А что дитя выросло во время тридцатилетнего сна, и уже более не дитя,— они не видят.

В Москве, по случаю предстоящего освобождения крестьян, положено было дать обед и пить за здоровье государя. Закревский донес об этом и в донесении выразил опасение, что обед будет иметь революционный характер. Государь, узнав программу обеда, немедленно его разрешил и благодарил дворян за их сочувствие великому делу. Обед состоялся. На нем было произнесено много речей, и все они напечатаны в «Русском Вестнике», и все носят один характер, не революционный, но характер радости и признательности к государю.

Самая же горячая из этих речей — речь Кокорева. И сам он до того расхотелся, что предложил еще другой обед, в день восшествия на престол, 19 февраля. Но что же вышло? С самого того дня, в который он сделал это предложение, — он находится под надзором полиции.

Вот это-то и называется скачками и прыжками туда и обратно. И таких скачков не оберешься. Например, драму «Свет не без добрых людей» разрешили к представлению, но когда почти весь Петербург уже видел ее на сцене, — ее вдруг запретили. И говорят, что то берет верх влияние Константина Николаевича, то тех няnek, что хотят уложить спать всю Россию.

Вторник, 11 февраля 1858 г.

Список журналам, которые мы получаем: «Современник», «Отечественные Записки», «Библиотека для чтения», «Русский Вестник», «Русская Беседа», «Сын Отечества», «Общезанимательный Вестник», «Французская Иллюстрация», «Английская Иллюстрация», «Подснежник» и «С.-Петербургские Ведомости».

Среда, 28 мая 1858 г.

Завтра едем ночевать в город, чтобы утром не опоздать на церемонию освящения Исаакиевского собора. Говорят, что церемониал великолепен, вроде въезда государя после коронации. Но гадкая история сцепилась с этой церемонией. Во время коронации Красная площадь в Кремле покрывалась красным сукном, которого пошло несколько тысяч аршин. Это сукно сначала хотели взять напрокат, но не сторговались как-то и решили его купить. Нынче опять понадобилось красное сукно, чтобы устлать им дорогу от Зимнего дворца до собора, и государь вспомнил про то, коронационное, и приказал употребить его. Списались с Москвой. Оттуда отвечали, что сукно очень плохо, что его моль поела. Государь приказать прислать его таким, какое оно есть. Тогда оказалось, что его вовсе не существует, и что оно никогда не было куплено, а было взято напрокат. Барон Боде, говорят, отставлен, и с ним еще несколько человек потеряли свой места. Об этой истории много говорят. Говорят, что сукно было действительно куплено, т. е. деньги поставлены в счет; а сукно потом продали и деньги поделили между собой.

Дедушка давеча посмотрел на меня и говорит: «А сукно привезут из Москвы, то, что было на коронации». — «Да, — говорю, — из Москвы! Вы разве не слыхали, какая там вышла история!» — «Слышал, матушка», — отвечал он. И сам стал говорить об этой истории, а то ведь все молчал или уверял, что сукно везут из Москвы.

Трое кадет сидят в Третьем отделении за то, что переписывали Герцена. И в то же время ходит по городу слух, что будто государь недавно громко спросил у своих приближенных, нет ли у кого из них «Колокола», что он давно его не читал.

Вторник, 3 июня 1858 г.

Уже за полночь. Мы засиделись внизу. Дачу продали за 9600 рублей купцу Федотову. Вот и прощай, наша милая дача! Всем грустно, но она теперь не нужна, так как есть у нас Ивановка, и мы там будем проводить летние месяцы.

Сегодня, наконец, видели мы картину Иванова. Говорю просто: «картина Иванова», и всякий поймет, какая картина, потому что под этим названием она известна двадцать лет. Двадцать лет о ней пишут и говорят, и вот лишь теперь только она окончена, привезена из Рима сюда, и ее можно видеть.

Она произвела на меня странное впечатление, которое, конечно, остерегусь высказать вслух: она напомнила мне произведения безумных. Говорят, гений граничит с безумием. Может быть, Иванов от гениальности так странен; или картина его от того кажется странной, что он писал ее двадцать лет, выслушал о ней столько мнений и критик, и сам переживал, работая над нею, свою нравственную или умственную ломку. Во-первых, в ней поражает отсутствие воздушной перспективы. Это заметно на фигуре Христа; она появляется вдали, а между тем вырисована. Положим, что там, на Иордане, воздух прозрачнее, но все же это поражает; положим еще, — и это самое главное, — что Христа художник с намерением не хотел затушевывать и, вдали ли появлялся он или на первом плане, хотел отделать его тщатель-

но. Это, конечно, главное, и даже более того, и есть вся суть. Для нее он пожертвовал воздушной перспективой. Но дело-то в том, что картина действует прежде всего, да и предназначена действовать — на телесные глаза, а не на умственные, так что, покуда сообразишь и увидишь суть умственным оком, телесное уже поражено.

Но фигура Христа сама по себе превосходна, откуда бы на нее ни глядеть, издали ли или вблизи. Издали, несмотря на превосходно написанные фигуры Крестителя и крестьящихся на первом плане, видишь, что не они главные, а главный он, тот, что приближается, не освещенный солнцем, не в ярких красках одежды, не победителем. Он в синем хитоне, как его изображают обыкновенно, и идет один. Полы хитона не висят, а как-то подобраны, рук не видно, они, должно быть, поддерживают хитон, отчего вся фигура получает какой-то необыкновенно смиренный и в то же время величественный вид. Так видит умственное око и восхищается, но неумственному кажется, что для такой дали Христос слишком вырисован.

Затем, вода написана невозможно; а самое странное, — и, признаюсь, когда я это увидела, то глазам своим сначала не поверила, — это вот что: возле главной группы, на первом плане, где и Иоанн Креститель, стоит дерево (впрочем, я, может быть, и ошибаюсь, может быть, оно и не на первом плане и не на одном с Иоанном, — при отсутствии воздушной перспективы это трудно разобрать, но стоит дерево), и между листьями этого дерева все просветы наполнены крошечными головками бегущих, кричащих или молящих людей. Это необыкновенно поразительно. Множество крошечных фигурок с беспокойными телодвижениями, по всему дереву и как бы на одном плане с фигурами в натуральную величину. Вот в этом-то мне и кажется что-то безумное. Можно понять, отчего идущий вдаль Спаситель не отделяется или слишком мало отделяется воздухом от группы, стоящей на первом плане, но что значат эти фигурки в дереве — понять трудно.

Местность, на которой все это происходит, то есть пейзаж, напоминает старинную, дорафаэлевскую манеру писать и как-то гармонирует с идеей, с фигурой Спасителя, но опять-таки с яркими, сочными, новейшими красками написанными фигурами остальных не гармонирует. Но довольно о картине, уже второй час утра. Папа видел Иванова, он собирается к нам.



Жюль Арну. Петербург. Казанский собор. 1840-е годы

В городе сегодня вдруг остановил нашу коляску, подбегая к ней, Григорович, Дмитрий Васильевич, со словами: «Прощайте! прощайте! уезжаю сегодня в шесть часов вечера в Тихий океан!» Ну, мы простились и пожелали ему доброго пути. Он уезжает на два года, так же, как и Майков и прочие, посылаемый в. к. Константином Николаевичем.

Среда, 2 июля 1858 г.

Сегодня на похоронах у Монферана познакомился отец с Дюма.

Утверждает Аполлон Николаевич, что будто русские не готовы на все для иностранцев: граф Кушелев посылает Дюма на свой счет в кругосветное плавание.

Четверг, 3 июля 1858 г.

Иванов умер. Что это, право? Даже верить не хочется, какая грустная неожиданность. Умер он от холеры сегодня, в восемь часов утра. Двадцать лет творил он свое произведение единственное, явил его, наконец, миру и, едва пожав плоды своих трудов, едва, так сказать, коснувшись устами к кубку славы, умер.

Картина Иванова и Исаакиевский собор! Поколение родилось и взросло, пока они творились, а самим творцам не довелось насладиться тем, чему они посвятили целую жизнь.

22 октября 1859 г.

Вчера много говорили о Фурье, Сен-Симоне и прочих. Лавров излагал их системы, но над некоторыми подробностями смеялся. Бенедиктов изучил эти системы не хуже Лаврова. Иван Карлович острит, но не шутя приходил в восторг от многого, а общий вывод был, как и всегда: как худо жить у нас. Но выходило в то же время, что и в Европе не лучше, что там уже износились все формы и политического и общественного быта, надо искать и создавать новые. Там надо создавать новые, а тут все вздыхают для нас по этим старым формам. Сами говорят, что Европа в безвыходном положении, и Герцен это пишет, а все мечтают и вздыхают, зачем у нас не так, как в Европе. Вот тут-то и стали разбирать социальные системы Фурье и прочих. Лавров уверял, что чем-нибудь подобным может кончиться, «что, впрочем, — говорил он, — не Европа, а сперва Америка, может быть, и выработает какую-нибудь такую эгалитарную систему, что все будут одинаково работать и одинаково сыты». Семья, конечно, не будет; дети будут воспитываться государством; богатых и бедных, простых и знатных также не будет. Все будут равны, одинаково образованы и обеспечены на старость. Иван Карлович приходил в восторг, Бенедиктов молчал.

20 марта 1860 г.

Вчера в университете был диспут Погодина с Костомаровым о происхождении Руси. Событие — давно ожидаемое, и на котором, к сожалению, по нездоровью я присутствовать не могла.

Ждали серьезных и, может быть, сухих прений, вышел перекрестный огонь остроумия, и, не решив вопроса, диспутанты кинулись в объятия друг друга, точно надо было им мириться. Или думали они поцелуями разрешить вопрос? А легкомысленная толпа молодежи подхватила их, слившихся так в объятиях, и понесла их обоих вместе и выломала двери даже. О, студенты, узнаю вас!

Как легко увлекать их и как легко ими владеть! А близкие им люди, профессора, не хотят этого понять. Они ищут популярности, льстят им, стараются им нравиться, говорят им о гуманности, либерализме, прогрессе, о передовом человеке и уважении личности. Словом, стараются и идут к ним навстречу, заискивают, когда можно овладеть ими, не сходя с места.

Да в сущности, чтобы привлечь к себе, и надо твердо и крепко стоять на своем месте, иначе привлечения и не будет, а будет увлечение, потеря почвы.

Может быть, профессора этого и хотят? Студенты — удивительно добродушный и доверчивый народ в массе.

Их можно направить куда угодно; теперь их слишком направляют именно лестью. Они не прозорливы, но молодость чутка. Разобрать и отдать себе отчет они в большинстве случаев еще не могут, но презрение к старому и старым и возвеличение нового и молодого и их, молодых, видят; что не нужно авторитетов, — слышали также. И вот уж чувство уважения в них умалывается, а растет самолюбие, самоуважение. Хорошо ли это? А они в сущности так добродушны, так наивны, так прекрасны в массе. Не надо забывать еще, что это все школьники времени Николая Павловича, и вдруг им такая разнища в обращении.

Они еще восторженно верят, — несмотря на то, что их учат не верить, — и в науку, и в будущее, и в Кавелина, и в Костомарова, но ведь и это авторитет, а авторитетов не нужно.

21 ноября 1860 г.

Вечером была на чтении в пользу воскресных школ, в Пассаже. Читали Бенедиктов, Полонский, Майков, Писемский, Достоевский и Шевченко.

Вот, век изучай и все не поймешь то, что называют публикой. Шевченку она так приняла, точно он гений, сошедший в залу Пассажа прямо с небес. Едва успел он войти, как начали хлопать, топтать, кричать. Бедный певец совсем растерялся.

Думаю, что неистовый шум этот относился не столько лично к Шевченку, сколько был демонстрацией. Чествовали мученика, пострадавшего за правду.

Но ведь Достоевский еще больший мученик за ту же правду. (Уж будем все, за что они страдали, называть правдой, хотя я и не знаю хорошенько, за что они страдали, довольно того, что страдали.) Шевченко был только солдатом, Достоевский был в Сибири, на каторге. Между тем Шевченка ошеломили овациями, а Достоевскому хлопали много, но далеко не так. Вот и разбери.

С Шевченком даже вышло совсем удивительно. Он нагнул голову и не мог вымолвить слова. Стоял, стоял, и вдруг повернулся и вышел, не раскрыв рта. Шум смолк и водворилась тишина недоумения. Вдруг из двери, через которую выходили на эстраду чтецы, кто-то выскочил и схватил стоящие на кафедре графин воды и стакан. Оказалось, что Шевченку дурно. Через несколько минут он, однако, вошел снова. И ему снова было стали хлопать, но, вероятно, щадя нервы его, раздалось несколько шиканий. Он стал читать, останавливаясь на каждом слове, дотянул, однако, благополучно все три стихотворения. Последнее даже шло уже как следует, и им закончился сегодняшний литературный вечер. Провожая Шевченку, ему хлопали уже гораздо меньше, точно восторг весь выдохся при встрече, или точно то, что он прочел, его охладило. В нашу ложу явился Шевченко уже совершенно оправившимся.

Достоевский читал «Неточку Незванову», вещь немного длинную и растянутую для публичного чтения. К тому же у Достоевского голос слабый и однообразный, по-видимому, не применившийся еще к подобному чтению.

Что же касается остальных исполнителей, то тут я опять узнала и поняла мою публику. Не нужно ей лучшего, дайте только то, что бросается в глаза и что в моде.

Полонский прекрасно, как редко читает, прочел «К женщине», прекраснейшее произведение свое,— публика отнеслась холодно; но его «Нищий» привел ее в восторг, и она заставила его повторить. Майкова, помня его прошлогоднюю «Ниву», она приняла с испуганием, а «Савонарола» не понравился.

Что же касается стихотворения «А мы» Бенедиктова, то публика поняла его как раз обратно, то есть противоположно тому, как поняла его Авдотья Павловна Глинка, причислившая за него Бенедиктова окончательно к своим: публика его за стихотворение это только отчислила от своих.

Лучшей же из прочитанных вещей была, бесспорно, вещь Писемского, первый акт его «Горькой Судьбины», и он читал превосходно, изредка только мурлыча себе под нос, но сравнительно ее мало оценили. Бенедиктов говорит, что сегодня опять подходил к нему тот господин, которого в прошлом году мы приняли за шпиона. Теперь пора спать.

Понедельник, 17 сентября 1862 г.

Мы только что из-за границы. Ну, что же, сильны были впечатления, полученные в чужих краях? Ну, что же, сильна была радость воротиться в родное гнездо? Ни то, ни другое! Есть ли что-нибудь в Европе неизвестное, не описанное? Есть ли что-нибудь замечательное, к чему бы путешественник не был приготовлен? Есть ли что-нибудь прекрасное и не опошленное? На что смотреть? Чему радоваться? Красотам Швейцарии? Там люди портят пейзаж, наученные восторги нарушают гармонию. Там все исхожено, исцупано, избито.

Смотрели на ослепительную роскошь Парижа? Но ведь сквозь эту роскошь, пристальнее, чем вы, глядят на вас чахлые глаза пролетариата, и отвернешься с содроганием и от роскоши, и от него.

Пить пиво в Германии, любясь прекрасным устройством, наслаждаясь покоем? Но от этого покоя потянет в беспокойную Россию; а там с первой станции радости: залитые столы, грязные чашки, кофе, которого нельзя пить.

И захочется после всего этого одного: усесться где-нибудь на месте и не видеть ничего, и сообразить. И сообразив, придешь к тому заключению, что жить-то, собственно, можно только в России. Тут хоть красоты-то неизвестны, следовательно, не опошлены; тут-то хоть роскошь-то не призрачна; тут хоть от покоя не хочется бежать, потому что его нет; а грязные чашки — ну, они вымоются, это дело можно поправить.

Понедельник, 25 марта 1863 г.

Вышел «Современник», № 3. В нем роман Чернышевского. Я этим романом наэлектризована. Он мне доставил наслаждение, какое доставляли книги в юные годы, он мне согрел

душу своим высоконравственным направлением, наконец, он объяснил то восторженное... поклонение... иначе назвать не умею, которое питает к его автору молодое поколение, то влияние, которое он на него имеет. Мне теперь понятны те слышанные мною дерзкие отрывки речи, такие антипатичные на первый взгляд.

9 мая 1863 г.

Завтра хотел быть Полонский, но вот, говорят, нельзя ехать даже в Гатчину из Петербурга без паспорта. Это затруднит многим и может завтра помешать Полонскому. Кажется, война неизбежна.

Скверное положение России. За границей ругают. Нашим барыням, говорят, житься нет в Париже, везде карикатуры, насмешки на русских.

Если это выгонит барынь из чужих краев, так хорошо, довольно они посрамили Россию.

Россия, Россия, родная, до чего доигрались с тобой! Какого тяжелого драматизма полно положение всякого мыслящего русского!

Я бы хотела теперь быть полячкой и с чистой совестью от всего сердца биться за родную землю.

Франция и Англия, и против вас биться не стыдно, но это растерзанное польское тело мешает.

Суббота, 25 мая 1863 г.

Польский вопрос раздается все громче и громче, он сделался ощутительным.

Невольным образом я становлюсь на сторону поляков. Собственно говоря, я к ним особой симпатии никогда не чувствовала, напротив того; но теперь, когда на них взводят Бог знает что, когда они слабы, мало того, что слабы, — в наших руках, и бьются так отчаянно за свободу, за родину, за мать свою? Теперь, когда мы-то виноваты во всем этом великом несчастье, этом безвыходном несчастье, теперь я не могу не защищать их. Польский вопрос растет в громадное безобразие. Было время, еще несколько месяцев тому назад, когда желалось и казалось возможным освобождение Польши, т. е. освобождение, дарованное нашим правительством, как соглашение на все их требования, признание всех их прав, кроме прав на наши западные губернии, и вывод наших войск из герцогства Варшавского; теперь это почти невозможно: польский вопрос вошел в русскую кровь, он заразил всю Россию, народная ненависть встала, ей поперечить опасно.

Несчастье еще безвыходнее.

И есть люди, — да что я говорю, это большинство, — которые радуются адресам дворян, радуются нашему воинственному духу. Разве не видят они, что это запутывает дело, что развязка становится все труднее и невозможнее, что крови будет литься все больше и больше... русской крови, о которой они так тужат. Не дурной крови русских дворян кичливых, а бедной крови русских солдат, неповинных в этом кровавом деле.

Тяжелое время, чем кончится оно?

О Екатерина вторая, мать отечества!

Спасибо тебе! Это твой старый грешок проклятием лег на наши души. Тебе обязаны мы и этим несчастьем, этим позором.

Тяжелое время, с чем выйдем мы из него?

С новым позором и с Польшей или только с позором и без Польши! Или без позора и без Польши?

Нет, это было бы слишком хорошо!

24 июля 1864 г.

Когда Чернышевскому читали приговор, кто-то из толпы бросил ему букет цветов. Нет, эту историю с букетом я принималась описывать четыре раза и, кажется, не напишу никогда. Я не могу смотреть на нее довольно хладнокровно и объективно. Это кажется так просто, короткими словами можно сказать. Привязанному к позорному столбу Чернышевскому Маша Михаэлис бросила букет цветов. Совершилось это событие 19 мая 1864 г., в восемь часов утра, на Мытном рынке, в Петербурге.

Чего проще? Не бросают ли ежедневно гроши проводимым по улицам арестованным. Кто обращает на это внимание? Но бросить букет цветов политическому преступнику — как это можно! А если вдруг оттого делается бунт, революция? А если оттого делается землетрясение? А если букет начинен порохом? Может быть, это орсиновская бомба в виде букета... Впрочем, это пустяки, этого никто не боится, это я только язык точу.

Машу Михаэлис взяли, посадили в карету и отвезли в Третье отделение не потому, что боялись чего-нибудь от самого букета; что ж букет, — букет ничего не может сделать, — но это была демонстрация. Что ж, Маша Михаэлис — представительница чего-нибудь?

Что ж, эта толпа, которая не шелохнулась, не колыхнулась, куда ее брали, прикасались к ней полицейские неумытыми руками, — не ее соумышленники? Или она демонстрацию сделала одна, сама собой? В таком случае действительно можно испугаться, ведь сверхъестественного и боятся. Или, может быть, в том и заключалась демонстрация, что дали ее взять, оскорбить, посадить в карету; чтобы она сама обругала дураком полицейского, который полез было за ней в карету, и послала его садиться на козлы?

О люди, люди! И вам писались прокламации? Да вам басни Крылова нельзя читать без объяснений! Вам только и годится «История России» Ишимовой, куда вам прокламации! И вы сердитесь на Писемского за «Взбаламученное Море»? Да вы бы уж заодно и зеркала все перебили.

Как, у вас на глазах берут девушку за букет, брошенный ею преступнику, которому и сами вы ведь сочувствуете из-за угла, — и ничто в вас не колыхнулось. Кроме радости, что нигилистка попалась? А помните, вам нравилось так, что студенты служили панихиду по полякам? И пели польский гимн, и столкнули с паперти католической церкви полковника? Какой девятый вал нес вас тогда? Чему вы радовались? Ведь русские студенты молились по полякам, убившим русских; ведь толкаться скверно. полковник мог шею сломать. А что приключилось от букета?

Что полиция захватила Машу Михаэлис, это ничего (она должна была это сделать), но что вы на нее напали, вы, наше либеральное общество, — это и ново и дико.

Машу спрашивали на допросе: родственник ли ей Чернышевский? «Нет». — «Так что же он вам? Зачем же вы бросили цветы?» — «Я в него влюблена», — отвечала Маша.

И общество подхватило эти слова и понесло по всем гостиным: «Она сказала, что влюблена в него!!»

Добрые люди и за нас испугались. «Представьте себе, — говорят они, — Машу Михаэлис называют м-м Штакеншнейдер, урожденной Михаэлис». Каков ужас!

Декабрь 1864 г.

1-го, 2-го и 3-го декабря праздновали юбилей Карамзину, 1-го, в самый день его рождения, в Академии наук, в присутствии наследника цесаревича и великих князей Владимира, Алексея Александровичей, членов Академии, Михаила Петровича Погодина, приехавшего нарочно из Москвы, и многочисленной публики, перед бюстом покойного юбиляра, украшенным тропической растительностью, прочитаны были академиком Гротом и М. П. Погодиным и П. Вяземским, Маркевичем краткие очерки его литературной деятельности, несколько слов о нем самом и о его характере, и наконец, также Маркевичем, стихи о нем П. Вяземского.

Почтенный гость наш, М. П. Погодин, был встречен громкими и единодушными рукоплесканиями. Эти рукоплескания прорвались и в средину его речи, когда он приводил записку Карамзина о Польше, где Карамзин так чисто, сердечно и смело писал императору Александру I.

Но зачем М. П. с насмешливым выражением обозначил слово «индивидуум»? Неужели оно в самом деле смешно? Или, вышедшее впервые из уст младшего поколения, оно должно быть отвергнуто старшим? «Может быть, тень Карамзина носится посреди нас», — говорил М. П. в своей речи. Но если бы действительно эта тень, вышедши из своего гроба, захотела посмотреть на новых людей, сошедшихся, чтобы почтить ее память, неужели она бы тоже отнеслась неприязненно к ним? Ведь столько у этих людей новых слов, новых понятий, новых учреждений, немыслимых не только что, но и пятьдесят лет тому назад.

2 декабря праздновал тот же праздник С.-П. университет, соединив с этим днем свой день раздачи дипломов на ученую степень и медали.

3-го был в честь памяти Карамзина литературный вечер от Общества Литературного Фонда. Читали: Станкевич — несколько слов о предмете вечера и стихи Ф. И. Тютчева по поводу юбилея, Е. П. Ковалевский о Карамзине, Н. И. Костомаров — Пушкинский «Табор», граф А. Толстой — две главы из своей новой драмы «Царь Федор Иоаннович» и А. Н. Майков первую часть из поэмы «Странник».

Состав этого литературного вечера был не совсем удачен. Наш талантливый и ученый историк Н. И. Костомаров читал очень долго свою серьезную статью. «Вестник Европы» профессора Стасюлевича, где будет помещена эта статья, настолько распространен между той частью нашей читающей публики, которая интересуется отечественной историей, чтобы быть прочтенным всеми; а кому он совершенно недоступен, тот навряд ли был и на чтении, так как зала не могла вместить в себя более трехсот человек. А. Н. Майкову пришлось читать свою вдохновенную поэму последнему, и утомленная публика, встретив своего любимого поэта горячим взрывом рукоплесканий, дослушать его с полным вниманием уже не могла, несмотря на его превосходное чтение, и, едва досидев до конца, наскоро ему похлопала и поспешила выйти поскорее вон из душной до крайности залы...

Печатается по изданию: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. — М.; Л., 1934.